

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Жил-был в Москве Владимир Семеныч Лядовский. Он кончил курс в университете по юридическому факультету, служил в контроле какой-то железной дороги, но если бы вы спросили его, чем он занимается, то сквозь золотое *ripse-pez* открыто и ясно поглядели бы на вас большие блестящие глаза и тихий, бархатный, шепелявящий баритон ответил бы вам:

— Я занимаюсь литературой!

После окончания курса в университете Владимир Семеныч поместил в одной газете театральную заметку. С заметки перешел он к библиографическому отделу, а год спустя уже вел в газете еженедельный критический фельетон. Но из такого начала не следует, что он был дилетант, что его писательство имело случайный, преходящий характер. Когда я видел его чистенькую, худощавую фигурку, большой лоб и длинную гриву, когда вслушивался в его речи, то мне всякий раз казалось, что его писательство, независимо от того, что и как он пишет, свойственно ему органически, как биение сердца, и что еще во чреве матери в его мозгу сидела наростом вся его программа. Даже в его походке, жестике, в манере сбрасывать с папиросы пепел я читал всю эту программу от а до ижицы, со всей ее шумихой, скукой и порядочностью. В нем был виден пишущий, когда с вдохновенным лицом возлагал он венки на гроб какой-нибудь знаменитости или с важным, торжественным выражением собирал подписи для адреса; его страсть знакомиться с известными литераторами, способность находить таланты даже там, где их нет, постоянная восторженность, пульс 120 в минуту, незнание жизни, та чисто женская взбудораженность, с какою он хлопотал на концертах и литературных вечерах в пользу учащейся молодежи, тяготение к молодежи — всё это создало бы ему репутацию «пишущего», если бы даже он и не писал своих фельетонов.

Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил: «Нас немного!» или: «Что за жизнь без борьбы? Вперед!», хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шел вперед. Не выходило также приторно, когда он начинал толковать об идеалах. В каждую университетскую годовщину, в Татьянин день, он напивался пьян, подтягивал не в тон «*Gaudeamus*», и в это время его сияющее, вспотевшее лицо как бы говорило: «Глядите, я пьян, я кучу!» Но и это шло к нему.

Владимир Семеныч искренно веровал в свое право писать и в свою программу, не знал никаких сомнений и, по-видимому, был очень доволен собой. Одно только печалило его, а именно: у газеты, в которой он работал, было мало подписчиков и не было солидной репутации. Но Владимир Семеныч веровал, что рано или поздно ему удастся пристроиться в

толстом журнале, где он развернется и покажет себя, — и его маленькая печаль бледнела в виду ярких надежд.

Бывая у этого милого человека, я познакомился с его родной сестрой, женщиной-врачом Верой Семеновной. С первого же взгляда эта женщина поразила меня своим утомленным, крайне болезненным видом. Она была молода, хорошо сложена, с правильным, несколько грубоватым лицом, но, в сравнении с подвижным, изящным и болтливым братом, казалась угловатой, вялой, неряшливой и угрюмой. Ее движения, улыбки и слова носили в себе что-то вымученное, холодное, апатичное, и она не нравилась, ее считали гордой, недалекой.

На самом же деле, мне кажется, она отдыхала.

— Милый друг мой, — часто говорил мне ее брат, вздыхая и красивым писательским жестом откидывая назад волосы, — никогда не судите по наружности! Поглядите вы на эту книгу: она давно уже прочтена, закорузла, растрепана, валяется в пыли, как ненужная вещь, но раскройте ее, и она заставит вас побледнеть и заплакать. Моя сестра похожа на эту книгу. Приподнимите переплет, загляните в душу, и вас охватит ужас. В какие-нибудь три месяца Вера перенесла, сколько хватало бы на всю человеческую жизнь!

Владимир Семеныч оглядывался, брал меня за рукав и начинал шептать:

— Вы знаете, кончив курс, она вышла замуж по любви за одного архитектора. Целая драма! Едва успели молодые прожить месяц, как муж — фюйть! — умирает от тифа. Но это не всё. Она сама заражается от мужа тифом и когда, выздоровев, узнает, что ее Иван умер, принимает хорошую дозу морфия. Если бы не энергия подруг, то моя Вера была бы уже в раю. Послушайте, разве это не драма? И разве моя сестра не похожа на *ingénue*, которая уже сыграла все пять действий своей жизни? Пусть публика глядит водевиль, но *ingénue* должна ехать домой отдыхать.

Вера Семеновна, пережив три несчастных месяца, поселилась у брата. Практическая медицина была не по ней, не удовлетворяла и утомляла ее; да она и не производила впечатления знающей, и я ни разу не слышал, чтобы она говорила о чем-нибудь имеющем отношение к ее науке.

Она оставила медицину и в безделье и молчании, точно заключенная, поникнув головой и опустив руки, лениво и бесцветно доживала свою молодость. Единственное, к чему она еще не относилась равнодушно и что немного проясняло ее жизненные сумерки, было присутствие около нее брата, которого она любила. Она любила его самого, его программу, благоговела перед его фельетонами, и когда ее спрашивали, чем занимается ее брат, она тихим голосом, точно боясь разбудить или помешать, отвечала: «Он пишет!..» Обыкновенно, когда он писал, она сидела возле и не сводила глаз с его пишущей руки. В это время она походила на больное животное, греющееся на солнце...

В один из зимних вечеров Владимир Семеныч сидел у себя за столом и писал для газеты критический фельетон, возле сидела Вера Семеновна и по обыкновению глядела на его пишущую руку. Критик писал быстро, без помарок и остановок. Перо поскрипывало и взвизгивало. На столе около пишущей руки лежала раскрытая, только что обрезанная книжка толстого журнала.

Там был рассказ из крестьянской жизни, подписанный двумя буквами. Владимир Семеныч был в восторге. Он находил, что автор прекрасно справляется с формой изложения, в описаниях природы напоминает Тургенева, искренен и знает превосходно крестьянскую жизнь. Сам критик был знаком с этой жизнью только по книгам и понаслышке, но чувство и внутреннее убеждение заставляли его верить рассказу. Он предсказывал автору блестящую будущность, уверял его, что ждет окончания рассказа с большим нетерпением и проч.

— Прекрасный рассказ! — проговорил он, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза от удовольствия. — Идея в высшей степени симпатичная!

Вера Семеновна поглядела на него, громко зевнула и вдруг задала неожиданный вопрос. Вообще вечерами она имела привычку нервно зевать и задавать короткие, отрывистые вопросы, не всегда шедшие к делу.

— Володя, — спросила она, — что значит непротивление злу?

— Непротивление злу? — переспросил брат, открывая глаза.

— Да. Как ты его понимаешь?

— Видишь ли, милая, представь, что на тебя нападают воры или разбойники и хотят тебя ограбить, а ты вместо того, чтобы...

— Нет, ты дай логическое определение.

— Логическое определение? Гм!.. Ну, что ж? — замялся Владимир Семеныч. — Непротивление злу выражает безучастное отношение ко всему, что в сфере нравственного именуется злом.

Сказавши это, Владимир Семеныч нагнулся к столу и принялся за повесть. В этой повести, написанной женщиною, изображалась тягость нелегального положения светской дамы, живущей под одной крышей с любовником и со своим незаконнорожденным ребенком. Владимир Семеныч был доволен и симпатичной идеей, и фабулой, и исполнением. Передавая вкратце содержание повести, он выбирал лучшие места и прибавлял к ним от себя: «Не правда ли, как всё это верно действительности, как жизненно и картинно! Автор не только повествователь-художник, но он также и тонкий психолог, умеющий вглядываться в душу своих персонажей. Для примера возьмем хоть это рельефное описание душевного состояния героини во время встречи ее с мужем» и т. д.

— Володя! — перебила Вера Семеновна его критические излияния. — Странная мысль занимает меня со вчерашнего дня. Я всё думаю: что мы изображали бы из себя, если бы жизнь человеческая была построена на началах непротивления злу?

— По всей вероятности, ничего. Непротивление злу дало бы полную свободу преступной воле, а от этого, не говоря уж о цивилизации, на земле не осталось бы камня на камне.

— А что же бы осталось?

— Башибузуки и дома терпимости. В следующем фельетоне я поговорю насчет этого, пожалуй. Спасибо, что напомнила.

И мой приятель через неделю сдержал свое обещание. Это было как раз время — восьмидесятые годы, когда у нас в обществе и печати заговорили о непротивлении злу, о праве судить, наказывать, воевать, когда кое-кто из нашей среды стал обходиться без прислуги, уходил в деревню пахать, отказывался от мясной пищи и плотской любви.

Прочитав фельетон брата, Вера Семеновна подумала и едва заметно пожала плечами.

— Очень мило! — сказала она. — Но всё же я еще многого не понимаю. Например, в «Соборянах» Лескова есть один чудак-огородник, который сеет на долю всех: покупателей, нищих и тех, кто захочет украсть. Разумно он поступает?

По выражению лица и по тону сестры Владимир Семеныч понял, что его фельетон не понравился ей, и чуть ли не первый раз в жизни в нем вздрогнуло его авторское чувство. Не без раздражения он ответил:

— Кража — явление безнравственное. Сеять на долю воров значит признавать за ворами право на их существование. Что бы ты сказала, если бы я, открывая газету и планируя ее на отделы, кроме честных идей имел бы в виду еще и шантаж? Ведь по логике этого огородника я должен уделить место также и шантажистам, подлецам мысли! Да?

Вера Семеновна ничего не ответила. Она встала из-за стола, лениво поплелась к дивану и легла.

— Не знаю, ничего не знаю! — сказала она в раздумье. — Ты, вероятно, прав, но мне кажется, я так чувствую, что в нашей борьбе со злом есть какая-то фальшь, точно что-то недосказано или скрыто. Бог знает, быть может, наши приемы в противлении злу принадлежат к числу предрассудков, которые вкоренились в нас так глубоко, что мы уже не в силах расстаться с ними и потому уже не можем судить о них правильно.

— То есть как же это?

— Я не знаю, как тебе объяснить. Быть может, человек ошибается, думая, что он обязан и имеет право бороться со злом, так же, как ошибается, думая, например, что сердце имеет вид червонного туза. Очень может быть, что в борьбе со злом мы имеем право действовать не силой, а тем, что противоположно силе, то есть, если ты, например, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай...

— Умно, очень умно! Если я хочу жениться на богатой купчихе, то, чтобы помешать мне сделать эту подлость, купчиха должна поспешить сама выйти за меня замуж!

До полуночи беседовали брат и сестра, не понимая друг друга. Если бы посторонний человек подслушал их, то едва ли бы понял, чего хочет один и чего хочет другая.

Вечерами брат и сестра обыкновенно сидели дома. Знакомых семейных домов у них не было, да они и не чувствовали потребности в знакомствах, в театр ходили только на новые пьесы, — таков был тогда обычай у пишущих, — на концертах не бывали, потому что не любили музыки...

— Ты как хочешь думай, — сказала на другой день Вера Семеновна, — но для меня вопрос уже отчасти решен. Глубоко я убеждена, что противиться злу, направленному против меня лично, я не имею никакого основания. Захотят убить меня? Пусть. Оттого, что я буду защищаться, убийца не станет лучше. Теперь для меня остается только решить вторую половину вопроса: как я должна относиться к злу, направленному против моих ближних?

— Вера, ты не взбесись! — сказал Владимир Семеныч и засмеялся. — Непротивление становится, как я вижу, твоей *idée-fixe*!

Ему хотелось разыграть эти скучные разговоры в шутку, но как-то уже было не до шуток, улыбка на лице выходила кривой и кислой. Сестра уж не садилась у его стола и не следила благоговейно за его пишущей рукой, а сам он каждый вечер чувствовал, что позади него на диване лежит человек, не согласный с ним... И спина у него как будто деревенела и немела, а в душе веяло холодом. Авторское чувство злопамятно, неумолимо, не знает прощения, а сестра была первая и единственная, которая обнажила и растревожила это беспокойное чувство, похожее на большой ящик с посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, как она была, невозможно.

Проходили недели и месяцы, а сестра не оставляла своих мыслей и не садилась у стола. Однажды, весенним вечером, Владимир Семеныч сидел за столом и писал фельетон. Он разбирал повесть о том, как одна сельская учительница отказывает любимому и любящему ее человеку, богатому и интеллигентному, только потому, что для нее с браком сопряжена невозможность продолжать свою педагогическую деятельность. Вера Семеновна лежала на диване и думала о чем-то.

— Боже, какая скука! — сказала она, потягиваясь. — Как вяло и бессодержательно течет жизнь! Я не знаю, что делать с собой, а ты тратишь свои лучшие годы на бог знает что. Как алхимик, роешься в старом, никому не нужном хламе, — о, боже мой!

Владимир Семеныч выронил перо и медленно оглянулся на сестру.

— Скучно глядеть на тебя! — продолжала сестра. — Вагнер из «Фауста» выкапывал червей, но тот хоть клада искал, а ты ищешь червей ради червей...

— Туманно-с!

— Да, Володя, все эти дни я думала, долго, мучительно думала и убедилась: ты безнадежный обскурант и рутинер. Ну, спроси себя, что может дать тебе твоя усердная и добросовестная работа? Скажи: что? Ведь из этого старого хлама, в котором ты роешься, давно уже извлекли всё, что можно было извлечь. Как ни толки воду в ступе, как ни разлагай ее, а больше того, что уже сказано химиками, не скажешь...

— Вот ка-ак! — протянул Владимир Семеныч, поднимаясь. — Да, всё это старый хлам, потому что идеи эти вечны, по что же по-твоему ново?

— Ты берешься работать в области мысли, твое дело придумать что-нибудь новое. Не мне тебя учить.

— Я — алхимик! — удивлялся и возмущался критик, насмешливо щуря глаза. — Искусство, прогресс — это алхимия!?

— Видишь ли, Володя, мне кажется, что если бы все вы, мыслящие люди, посвятили себя решению больших задач, то все эти твои вопросы, над которыми ты теперь бьешься, решились бы сами собой, побочным путем. Если ты поднимаешься на шаре, чтобы увидеть город, то поневоле, само собою, увидишь и поле, и деревни, и реки... Когда добывают стеарин, то как побочный продукт получается глицерин. Мне кажется, что современная мысль засела на одном месте и прилипла к этому месту. Она предубеждена, вяла, робка, боится широкого, гигантского полета, как мы с тобой боимся взобраться на высокую гору, она консервативна.

Подобные разговоры не проходили бесследно. Взаимные отношения брата и сестры с каждым днем становились всё хуже и хуже. Брат в присутствии сестры уже не мог работать и

раздражался, когда знал, что сестра лежит на диване и глядит ему в спину; сестра же как-то болезненно морщилась и потягивалась, когда он, пытаясь вернуть прошлое, пробовал делиться с нею своими восторгами. Каждый вечер она жаловалась на скуку, заводила речь о свободе мысли, о рутинерах. Увлеченная своими новыми мыслями, Вера Семеновна доказывала, что работа, в которую был погружен ее брат, есть предрассудок, тщетная попытка консервативных умов продолжать то, что уже сослужило свою службу и уже сходит со сцены. Сравнениям не было конца. Она сравнивала брата то с алхимиком, то с раскольником-начетчиком, который скорее умрет, чем поддастся убеждению...

Мало-помалу стала замечаться перемена и в ее образе жизни. Она могла уже по целым дням и вечерам лежать на диване, ничего не делая, не читая, а только думая, причем лицо ее принимало холодное, сухое выражение, какое бывает у людей односторонних, сильно верующих; она стала отказываться от удобств, доставляемых прислугой: сама за собой убирала, выносила, сама чистила полусапожки и платье. Брат не мог без раздражения и даже ненависти глядеть на ее холодное лицо, когда она принималась за черную работу. В этой работе, совершаемой всегда с некоторою торжественностью, он видел что-то натянутое, фальшивое, видел и фарисейство и кокетство. И, уж зная, что он не в силах тронуть ее убеждением, он, как школьник, придирался, дразнил ее.

— Не противишься злу, а сама противишься тому, что я имею прислугу! — язвил он. — Если прислуга зло, то зачем же ты противишься? Это непоследовательно!

Он страдал, возмущался и даже стыдился. Ему стыдно делалось, когда сестра начинала дурить при посторонних.

— Ужасно, голубчик! — говорил он мне по секрету, в отчаянии взмахивая руками. — Оказывается, что наша *ingénue* осталась играть еще и в водевиле. Опсихопатилась до мозга костей! Я уже рукой махнул, пусть мыслит, как хочет, но зачем она говорит, зачем волнует меня? Она бы подумала: каково-то мне слушать ее! Каково мне, когда в моем присутствии осмеливаются кощунственно подтверждать свое заблуждение учением Христа? Мне душно! Меня бросает в жар, когда моя сестрица берется проповедовать свое учение и старается перетолковать Евангелие в свою пользу, когда она нарочно умалчивает об изгнании торгующих из храма! Вот что значит, батенька, недоразвитие, недомыслие! Вот что значит медицинский факультет, не дающий общего развития!

Раз Владимир Семеныч, вернувшись со службы домой, застал сестру плачущей. Она сидела на диване, опустив голову и ломая руки, и обильные слезы текли у нее по лицу. Доброе сердце критика сжалось от боли. Слезы потекли и у него из глаз и ему захотелось приласкать сестру, простить ее, попросить прощения, зажать по-старому... Он стал на колени, осыпал поцелуями ее голову, руки, плечи... Она улыбнулась, улыбнулась непонятно, горько, а он радостно вскрикнул, вскочил, схватил со стола журнал и сказал с жаром:

— Ура! Живем по-старому, Верочка! Господи благослови! А какую я для тебя штучку приготовил! Давай-ка вместо примирительного шампанского прочтем ее вместе! Прекрасная, чудная вещь!

— Ах, нет, нет... — испугалась Вера Семеновна, отстраняя книгу. — Я уже читала! Не нужно, не нужно!

— Когда же ты читала?

— Год... два назад... Давно читала и знаю, знаю!

— Гм!.. Ты фанатичка! — сказал холодно брат, бросая на стол журнал.

— Нет! ты фанатик, а не я! Ты!

И Вера Семеновна опять залилась слезами. Брат стоял перед ней, глядел на ее вздрагивающие плечи и думал. Думал он не о муках одиночества, какое переживает всякий начинающий мыслить по-новому, по-своему, не о страданиях, какие неизбежны при серьезном душевном перевороте, а о своей оскорбленной программе, о своем уязвленном авторском чувстве.

С этого раза стал он относиться к сестре холодно, небрежно-насмешливо и терпел ее в своей квартире, как терпят старух-приживалок, она же перестала спорить с ним и на все его убеждения, насмешки и придирки отвечала снисходительным молчанием, которое еще более раздражало его.

В одно летнее утро Вера Семеновна, одетая по-дорожному, с сумочкой через плечо, вошла к брату и холодно поцеловала его в лоб.

— Ты это куда? — удивился Владимир Семеныч.

— В N — скую губернию, оспу прививать. Брат вышел проводить ее на улицу.

— Ишь, ты, проказница, что надумала... — бормотал он. — Денег тебе не нужно?

— Нет, спасибо. Прощай.

Сестра пожала брату руку и пошла.

— Что же ты извозчика не нанимаешь? — крикнул Владимир Семеныч.

Докторша не отвечала. Брат поглядел вслед на ее рыжий ватерпруф, на покачивания ее стана от ленивой походки, насильно вздохнул, но не возбудил в себе чувства жалости. Сестра была для него уже чужой. Да и он был чужд для нее. По крайней мере, она ни разу не оглянулась.

Вернувшись к себе в комнату, Владимир Семеныч тотчас же сел за стол и принялся за фельетон.

И потом уже я ни разу не видел Веры Семеновны. Где она теперь — не знаю. А Владимир Семеныч всё писал свои фельетоны, возлагал венки, пел «Gaudeamus», хлопотал о «кассе взаимопомощи сотрудников московских повременных изданий».

Как-то он заболел воспалением легкого; лежал он больной три месяца, сначала дома, потом в Голицынской больнице. Образовалась у него фистула в колене. Поговаривали о том, что надо бы отправить его в Крым, стали собирать в его пользу. Но в Крым он не поехал — умер. Мы похоронили его в Ваганьковском кладбище, на левой стороне, где хоронят артистов и литераторов.

Как-то мы, пишушие, сидели в Татарском ресторане. Я рассказал, что недавно я был в Ваганьковском кладбище и видел могилу Владимира Семеныча. Могила была совершенно заброшена, сравнялась уже почти с землей, крест повалился; необходимо было привести ее в порядок, собрать для этого несколько рублей...

Но меня выслушали равнодушно, не ответили ни слова, и я не собрал ни копейки. Уже никто не помнил Владимира Семеныча. Он был совершенно забыт.

1886